чим ключом, и он видел хату на Днепровщине, Татьяну в ней и счастье, и лунные ночи в саду, и бешеный пляс на свадьбе...

Его позвал голос капитана. Ефим встал и пошел твердой походкой в хату.

В сумерки он с пятью разведчиками ушел к скале. Мы ждали его без сна.

Утром разведчики вернулись, принеся Татьяну. Оказалось, ее ранило в грудь, и она, теряя сознание, доползла до входа в каменоломню и там пролежала весь день К вечеру она очнулась. У входа в глубоких сумерках копошились тени и слышался чужой говор. Она начала стрелять. Сколько времени она держала ход в штольню, она не знает. Она била по каждой тени, появлявшейся у входа. Патроны кончались. Она отложила один — для себя. Потом она услышала взрыв у входа и снова потеряла сознание.

Взрыв был первой гранатой Ефима Дырща. Пробираясь к скале, он услышал стрельбу и, обогнав остальных разведчиков, ринулся туда, ломая кусты, как медведь, в смелой и страшной ярости. Сверху по нему стал бить автоматчик. Ефим встал во весь рост, чтобы рассмотреть, что происходит под навесом скалы: там виднелся черный провал, вход в каменоломню, и возле него — три-четыре трупа и десяток живых фашистов, стрелявших в провал. Он метнул гранату, вторую, третью, размахнулся четвертой — и тут пуля автоматчика раздробила ему левое бедро, впилась в бок и в руку. Он упал и, медленно сползая к краю обрыва, схватился за траву.

Теперь, когда его принесли на носилках, в могучих его пальцах белел цветок, зажатый им в попытке удержаться на склоне.

Он поднял на меня мутнеющий взгляд.

— Колы помру, мовчите... Не треба ей говорить, нехай про то не чует... Живой буду, сам скажу.

Он закрыл глаза, и разведчики с трудом подняли носилки с тяжелым телом комендора с «Парижской Коммуны».



## ЗОЯ

*Отрывок из поэмы*

Тишина, ах, какая стоит тишина!
Даже шорохи ветра нечасты и глухи.
Тихо так, будто в мире осталась одна
эта девочка в ватных штанах и треухе.
«Значит, я ничего не боюсь и смогу
сделать все, что приказано...»
Завтра не близко.
Догорает костер, разожженный в снегу,
и последний дымок его стелется низко.
«Погоди еще чуточку, не потухай.
Мне с тобой веселей. Я согрелась немного.
Над Петрищевым — три огневых петуха.
Там, наверное, шум, суета и тревога.
Это я подожгла!
Это я! Это я!
Все исполню, верна боевому приказу.
И сильнее противника воля моя,
и сама я невидима вражьему глазу.
Засмеяться?
Запеть?
Погоди, погоди!..
Вот когда я с ребятами встречусь,
когда я...»
Сердце весело прыгает в жаркой груди,
и счастливей колотится кровь молодая.

Ах, какая большая стоит тишина!
Приглушенные елочки к шороху чутки.

«Как досадно, что я еще крыл лишена.
Я бы к маме слетала хоть на две минутки.
Мама, мама,
какой я была до сих пор?
Может быть, недостаточно мягкой и нежной?
Я другою вернусь...
Догорает костер.
Я одна остаюсь в этой полночи снежной.
Я вернусь,
я найду себе верных подруг,
Стану сразу доверчивей и откровенней...»

Тишина, тишина нарастает вокруг,
Ты сидишь, обхвативши руками колени.
Ты одна.
Ах, какая стоит тишина!
Но не верь ей, прислушайся к ней, дорогая.
Тихо так, что отчетливо станет слышна
вся страна,
вся война,
до переднего края.
Ты услышишь все то, что не слышно врагу.
Под защитным крылом этой ночи вороньей
заскрипели полозья на крепком снегу,
тащат трудную тягу разумные кони.
Мимо сосенок четких и лунных берез,
через линию фронта, огонь и блокаду,
нагруженный продуктами красный обоз
осторожно и верно ползет к Ленинграду.
Люди, может быть, месяц в пути, и назад
не вернет их ни страх, ни железная сила.

Это наша тоска по тебе, Ленинград,
наша русская боль из немецкого тыла.
Чем мы можем тебе хоть немного помочь?
Мы пошлем тебе хлеба, и мяса, и сала.
Он стоит,
погруженный в осадную ночь,
этот город,
которого ты не видала.
Он стоит под обстрелом чужих батарей.
Рассказать тебе, как он на холоде дышит?

Про его матерей,
потерявших детей
и тащивших к спасенью чужих ребятишек.
Люди поняли цену того, что зовут
немудреным таинственным именем жизни,
и они исступленно ее берегут,
потому что, — а вдруг? — пригодится отчизне.
Это проще — усталое тело сложить,
никогда и не выйдя к переднему краю.
Слава тем, кто решил до победы дожить.
Понимаешь ли, Зоя?
— Я все понимаю.
Понимаю.
Я завтра проникну к врагу,
и меня не заметят,
не схватят,
не свяжут.
Ленинград, Ленинград!
Я тебе помогу.
Прикажи мне!
Я сделаю все, что прикажут...
И как будто в ответ тебе,
будто бы в лад
застучавшему сердцу
услышь канонаду.
На высоких басах начинает Кронштадт,
и Малахов курган отвечает Кронштадту!
Проплывают больших облаков паруса
через тысячи верст человечьего горя.
Артиллерии русской гремят голоса
от Балтийского моря до Черного моря.
Севастополь.
Но как рассказать мне о нем?
На светящемся гребне девятого вала
он причалил к земле боевым кораблем,
этот город,
которого ты не видала.
Сходят нá берег люди.
Вздыхает вода.
Что такое геройство?
Я так и не знаю.
Севастополь...

Давай помолчим!

Но тогда,

понимаешь, он был еще жив.

— Понимаю.

Понимаю.

Я завтра пойду и зажгу
и конюшни и склады согласно приказу.
Севастополь, я завтра тебе помогу!
Я ловка и невидима вражьему глазу.

Ты невидима вражьему глазу.

А вдруг?

Как тогда?

Что тогда?

Ты готова на это?

Тишина, тишина нарастает вокруг.
Подымается девочка вместо ответа.



## БЫЛЬ О МАКАРЕ МАЗАЕ

Как схватили немцы, как скрутили,
Как связали немцы сталевара
У зеленой, у дубовой балки,
Возле белореченского яра.

Десять дней скрипели и визжали
Ржавые немецкие запоры,
Десять дней в тюрьме его держали,
Десять дней вели переговоры.

Говорит Мазаю обер-мейстер:
«Вы поймите, упираться — глупо.
Мы поставим вас на видном месте,
Мы пошлем вас на заводы Круппа»

Офицер любезно скалит зубы,
По ладошке хлопает Макара:
«Мы дадим вам все, что вы хотите.
Сколько стоит совесть сталевара?»

Отвечает им донецкий мастер:
«Я готов принять любую кару.
Вы хотите взять меня деньгами,
А на чорта гро́ши сталевару?!

Дружит он с расплавленною сталью,
Любит он веселую свободу.
Если пожелает он напиться,
Пьет из кружки ледяную воду.